Дикий всадник

I

Луна плыла за облаком жёлтым, просачивающим, как студень, треугольником. Мутно зеленело вокруг небо, по горизонту сплошь покрытое тяжёлыми крупночешуйчатыми глыбами. Возле маленького домика винокура беспрерывно и резко обдувало холодной колючей пылью. Акцизному чиновнику Рухачёву давно надо было ехать домой, но он всё мешкал, застряв у крыльца с портфелем под мышкой. Дочери винокура, барышни Щепотьевы, всё задерживали его разговорами. Полуобнявшись, они обе стояли возле него, точно спелёнатые в один платок. И старшая Лидочка просительно тянула:

— Пожалуйста, Александр Дмитрич, устройте хоть один любительский спектакль! Миленький, добрый, хорошенький! Скучно ведь. Ух, как скучно!

Заглушая её слова, гулко ревела река у плотины, холодом обвевая всю усадьбу, и Лидочка повышала голос до неприятного визга.

— Ничего не устроишь с нашей интеллигенцией, — сказал Рухачёв, жестикулируя одной ладонью.

Вид у него был злой и раздражённый, как и всегда в эти последние месяцы. Его серо-желтоватые щёки морщились, криво вздрагивая.

— А вы отчего такой злой? — спросила его младшая Щепотьева, Зиночка.

— Что? — рассеянно переспросил Рухачёв, не то не поняв, не то не расслышав вопроса. — Что такое?

— Ничего, проехало, — обидчиво выговорила Зиночка.

Этим летом, когда ещё можно было ездить пить чай в липовую рощу и есть землянику со сливками, Зиночка была влюблена в Рухачёва, хотя она и находила его похожим на Дон-Кихота, но сейчас она вспоминала об этом своём чувстве почему-то с досадой. «Какой он линючий, господи, — думала она, теснее прижимаясь под платком к сестре, — все они линючие и гадкие, не глядела бы на них!»

— А как были хороши летом тучи, — вдруг воскликнула она с живостью, — помните? Малиновые, фиолетовые, золотисто-огненные! Где теперь они?

И Рухачёв, и обе Щепотьевы невольно оглядели горизонт. Как неуклюжие допотопные ящерицы, пресмыкались там тяжёлые тучи, истребляя последние остатки жизни. Ветер знобил лица, сердито рвал платье, свистел в голом кустарнике.

— Скучно, — сказал Рухачёв и замолчал, мельком вспоминая минувшее лето.

Зиночка одевалась тогда в живописный русский костюм и заплетала пёстрые ленты в косы, а Лидочка — в малороссийский. Рухачёв однажды снял их вот в таких костюмах с серпами в руках. Как-то ночью он сладко целовал портрет Зиночки, крепко прижимая его к жёстким усам, и о чём-то радостно мечтал. И было забавно и смешно, что вся она с серпом и ботинками помещалась у него под усами. Куда всё это подевалось? Куда ушло?

Помятое жёлтое лицо Рухачёва точно обрюзгло в сердитой гримасе. Колючие крупные и прямые усы его, острая борода и всё нескладное, костистое, узкое и долговязое тело застыло, как вырубленное из дерева. Он раскрыл рот, минуту постоял так и сказал:

— А что делаем мы, акцизные чиновники? Спаиваем обалделый тёмный народ. Разве не так? И почему мы лучше экспроприаторов?

Его брови вдруг задёргало, и оба глаза сразу неприятно закосили. Барышни Щепотьевы распеленались — платок упал к их ногам — и, возбуждённо замахав руками почти перед его носом, наперебой запричитали:

— Ах, Александр Дмитрич, какой вы! Зачем это вы, зачем? Зачем? И можно ли себя? Так расстраивать? Ах, ах...

В эти последние месяцы Рухачёв не раз высказывал перед ними такого рода мысли и почти каждый раз он сопровождал их нервными истеричными выкриками. И сейчас Щепотьевы испугались этих его слов. Лидочка стала ласкать рукав его пальто, приговаривая:

— Ну миленький, ну не сердитесь, ну успокойтесь! Ах, какой вы нехороший стали!

Раскрыв рот, Рухачёв тяжело дышал. Его бесцветные глаза стали злыми и тяжёлыми.

— Мы все негодяи, — выговорил он глухо, — потому что все участвуем в преступлении, которому нет названия. И всё-таки живём!

Он взмахнул портфелем, поднял плечи и точно отрезал:

— А затем до свиданья, барышни.

И пошёл к сараю, где ждала его лошадь, высокая, гнедая кобыла, разбитая на ноги. Опять запеленавшись в платок, Щепотьевы двинулись туда же. Рухачёв сидел уже в тележке, высокий и нескладный, и шевелил вожжами.

— Помните летние пикники? — спросила его Зиночка дрогнувшим голосом.

Колючие усы Рухачёва раздвинулись. Он сказал:

— Да, да. Было дело под Полтавой!

И тронул лошадь.

Высокая долговязая кобыла по-собачьи болтала облезлым кургузым хвостом, жалуясь на боль в до крови натёртых плечах. На жёсткой кочкастой дороге тележка гремела, как по железу. Совсем скрючившись, сидел Рухачёв. Барышни Щепотьевы долго глядели на его дугой согнутую спину, а потом повернули к крыльцу. Возле окна кухни их опахнуло запахом поджариваемого в масле лука. Зиночка спросила сестру:

— Ужинать, что ли, идти?

— Холодно и скучно, — ответила Лидочка, — и некому рук... пода...

Голос её сорвался. Вдруг, точно закашлявшись, она расплакалась.

Рухачёв, скрючившись в своей тележке, уже выехал с просёлка на большую дорогу. Холодной мёртвой пустыней лежало поле, окаменевшее под морозами, но ещё не прикрытое снегом. Стоял холод, тот неприятный и резкий холод, какой бывает в этот тяжкий промежуток между осенью и зимой, когда в полях ещё дуют пыльные колючие ветры, а на бесснежной дороге блестят обледенелые до самой земли лужи.

Точно что-то крутилось и металось над безмолвным полем. Между туч плыл месяц, матово-жёлтый в млечном сиянии. Кобыла тяжко стучала подковами и фыркала от адской пыли. А Рухачёв сначала будто бы радовался своему одиночеству, сознавая, что сейчас ему не перед кем хитрить, лукавить и притворяться. Можно думать и говорить, что хочешь и как хочешь, идти следом за каждым своим желанием. И тотчас же за этим сознанием его мозг точно озарился тысячью острых и блестящих мыслей, а сердце зажглось целым ураганом таких же острых ощущений. Но потом на Рухачёва вдруг, как обрушившаяся гора, упал ужас. Совсем уже скрючившись и даже

пристукивая зубами, Рухачёв весь напрягся, прислушиваясь, боясь оглянуться назад, полный мучительных поджиданий. Сердце билось в нём бурно и где-то очень высоко, почти под самым кадыком. Так переждал он два или три мгновения, и тогда он ясно услышал чёткий топот копыт, очевидно, во весь опор мчавшейся лошади. И тут его мозг точно сбросил оковы, расторгаясь, делаясь всеобъемлюще светлым и освещая ему всё сверху донизу.

— Он это, — проговорил Рухачёв почти уже спокойно, — он. Дикий всадник. Именно тот самый!

И, фыркнув насмешливо губами, он добавил:

— И, конечно, он едет за мной, чтоб сговориться окончательно...

В первый раз он, этот дикий всадник, обогнал его на той неделе ночью, когда вот также Рухачёв возвращался с винокуренного завода. И тогда Рухачёв принял его за экспроприатора, только что урвавшегося от облавы, до того дик и взбудоражен был весь его вид. И, судя по его дикому виду, Рухачёв так рисовал себе тогда картину этой облавы. Вероятно, тот сидел с двумя или тремя товарищами где-нибудь в крестьянской избе, служившей им местом свидания. И, может быть, все трое они весело пировали. Но и среди веселья все трое они то и дело подозрительно выглядывали в окошко, беспокойно прерывая разговор, прислушивались, испуганно каменели, нащупывая руками оружие. И вот, когда они меньше всего этого ожидали, подошло то самое, о чём они никогда не позабывали, что ежеминутно подстерегало их неумолимо и страшно, как смерть. В обрушившемся гвалте, безумной суматохе, среди дыма выстрелов и беспросветной кутерьмы те двое пали мёртвыми, а он прорвался сквозь проклятую цепь облавы, вскочил на лошадь и поскакал очертя голову, понёсся, как мёртвый вихрь по каменевшей дороге. Тогда-то и встретился с ним Рухачёв. И запомнил его навсегда. Навсегда запомнил. На вид ему было лет двадцать, не более. Одутловатое белобрысое и безбровое лицо его было незначительно и почти комично, но его выкатившиеся от ужаса глаза казались четырёхугольными, а его левую щеку перепоясывала широкая кровавая царапина, чернея, как насосавшаяся пиявка. И одет он был необычно, странно и страшно. Несмотря на крепкий мороз и лютый, вот как сейчас ветер, он был без шапки, в одной распоясанной рубахе, хотя и нарядной, из зелёной шёлковой материи. И одна нога его была обута в щегольской офицерский сапог, а дру-

гая — совсем босиком. И шаровара над этой босой ногой была разорвана до колена и трепалась по ветру, обнажая голую в крупных мурашках икру. Как вихрь пронёсся он мимо тележки Рухачёва; тяжко свистело дыхание загоняемой насмерть лошади, которую тот беспрерывно бил между ушей рукояткою плети, сам также тяжко ёкая при каждом прыжке лошади. И Рухачёв ясно видел, что та сошла с ума от этой дикой скачки, и сама уже не остановит своего бега, если бы её даже и не били, а будет мчаться вперед и вперед, пока не лопнет её сердце. Кого больше пожалел в ту минуту Рухачёв? Человека или лошадь? Он не помнил. Но вдруг, привстав в тележке, он крикнул тогда:

— Стой, погоди!

Но его не услышали, а может быть, не хотели услышать. Никто не откликнулся ему: ни человек, ни лошадь. Свернув в просёлок, они исчезли в тумане.

Рухачёв простонал, припоминая всю ту картину дикой безумной скачки, потёр темя и, вдруг остановив лошадь, прислушался. И тотчас же убедился, что топот мчавшейся лошади точно оборвало ветром. Тот, мчавшийся, очевидно, изменил свои намерения и куда-то исчез или остановил лошадь.

Рухачёв медленно оглянулся назад. И никого не увидел. Пасмурно томилось поле. Да луна тускло просвечивала, как исполинский слизняк. И больше ничего. Рухачёв тронул лошадь. Подул ветер пыльный, колючий и злой. Мёртвыми сухими шелестами чуралось от страшных ночных видений голое поле. Угрожающе предостерегала сухая полынь на меже:

— С-с-с...

И судорожно дёргалась под ветром.

Рухачёв подумал: «А может быть, дикий всадник — одна пустая аллегория? Ничто. Пустое место. Мираж. А то и безумие. Носится это безумие из конца в конец по всему свету и ловит зазевавшихся в свои сети. А ещё может быть, что дикий всадник ничто иное, как наша миленькая планета, где живут акцизные чиновники, экспроприаторы и прочее видимое и невидимое. Куда несётся она так стремительно? Для каких целей?»

Рухачёв привстал в тележке во весь рост, широко растопырил локти и залихватски закричал: «Фы-р-р, фы-р-р», — вскачь разгоняя кобылу. А потом спокойно мешком дрюпнулся в тележку и сказал самому себе:

— Пошутил и больше не хочу, и ничего нет в этом особенного.

Самые обыденные повседневные мысли потянулись тотчас же в его голове, как серые ленты. Вообще как-то нескладно и опрометчиво складывается вся его жизнь. Точно это не жизнь, а нарочно. Он, например, давно уже сознаёт, что служба в акцизном ведомстве с его точки зрения почти вопиющая подлость, а между тем он не бросает службы и получает полтораста рублей в месяц жалованья.

А вот и ещё один фокус-покус жизни. Весной он был влюблён в Зиночку Щепотьеву, очень хотел бы даже жениться на ней. Очень много светлого и красивого было в этом его чувстве, но он вдруг как-то нелепо, случайно и грязно, точно по чьему-то наущению, спутался тут же среди этого радостного чувства с пожилой вдовою Варварой Петровной, у которой он снимает две комнаты и столуется. И сошёлся-то он с нею не по-человечески, а по-птичьи: в курятнике. Та пошла проведать на ночь собственных своих кур, которые, кажется, составляли фамильную её гордость, а он любезно светил ей карманным электрическим фонариком. И тут-то бог любви и толкнул их в объятья друг к другу.

— Хорошенький тоже божок, нечего сказать, — выговорил Рухачёв, шевеля колючими усами. — Нашёл тоже место!

Огни большого торгового села Аляпина, где проживала в собственном домике вдова частного поверенного Варвара Петровна, оранжево засветились сквозь буро-зелёную муть. Рухачёв подумал: «А вот и оно — местопребывание и резиденция этой пертской красавицы, счастливой владелицы кахетинских кур и моего сердца!»

И тут же почувствовав, что он смертельно зазяб, неистово погнал лошадь.

II

Варвара Петровна, худая, с реденькими, гладко зачёсанными волосами и с двумя кудерьками в виде кавычек над желтоватым лбом, укладывала спать свою трёхлетнюю дочку Зюльку, по святцам Зою. Та, свернув калачиком ножонки, сидела на кровати, задрав рубашонку, сосредоточенным вниманием разглядывала на животе родинку и деловито переговаривалась с матерью.

— Это, мамулик, сто такое? — лепетала она.

— Родинка.

— Х-х, самая настоящая лодинка?

— Самая настоящая.

— А у кошек лодинков бывает?

— Бывает.

— И у куклов бывает? Или не плодают в мазинах?

— Продают, отстань, спи! — уже закричала Варвара Петровна и оглянулась на входившего Рухачёва.

Потирая посиневшие руки, высокий и нескладный, тот опустился возле стола и сказал:

— Чайку бы мне, Варвара Петровна, иззяб я здорово. Проклятущая погодка!

Две глубоких продольных морщины перерезывали его лоб. Кожа у глаз и носа капризно морщилась.

— Сейчас, сейчас, — заспешила Варвара Петровна и крикнула за перегородку: — Настька!

— Пожалуйста, — протянул Рухачёв, потирая лоб.

Рядом горела лампа с курносым амуром на абажуре и освещала портрет частного поверенного — мужчины в огромных усах.

— А у дядев лодинков ластут? — спросила у Рухачёва Зюлька. — На выжатах? Или сто?

— Чего? — переспросил тот, неприятно морщась, и принял с подноса стакан чая.

— Растут ли на животах родинки, вот всё насчёт чего она, — пояснила Варвара Петровна, подбирая коричнево-синеватые губы в кокетливый бантик.

— О родинках? — опять переспросил Рухачёв с испуганным недоумением.

— У куклов в мазинах плодают, — болтала Зюлька, — мамулик мне покупит на деньгах.

— А ну вас с вашими родинками, — капризно отмахнулся Рухачёв, но сообразив, что сейчас ему совсем невыгодно ссориться с Варварой Петровной, принуждённо улыбнулся, сделал ласковые глаза и сказал: — Впрочем, отчего не поговорить о родинках в счастливой семье, среди домашнего круга...

«В тёплом курятнике», — подумал Рухачёв, улыбнулся одною стороною губ, и опять неприятно закосили, разбегаясь, его глаза.

«Раньше будто бы не косил он глазами», — пришла мысль Варваре Петровне.

А он наскоро и жадно допил свой чай, остро почувствовав внезапно, что он не в силах более сдерживаться и что сейчас он выболтает, пожалуй, свою страшную тайну. Или хотя бы намекнёт о ней. Приподняв плечи и засунув руки в карманы, он двинулся к себе в комнату. Но на мгновение всё-таки остановился, не выдержав. Словно острая игла пронзила его мысль.

— А мы-то, Варвара Петровна, мы, акцизники, тоже ведь вроде экспроприаторов, — сказал он, — вот разберитесь хорошенько в этих словах. Пошевелите мозгами!

Он лукаво подмигнул бровью.

— Что такое? — переспросила Варвара Петровна, вглядываясь в его лицо.

— А если не понимаете, так что же с вами и разговаривать, — ответил Рухачёв и, переступив порог, плотно затворил за собою дверь.

Подумав, он не зажёг свечи, свет раздражал его, и, потирая ладонь о ладонь, он заходил по комнате. А потом, утомившись, он опустился в старое, широкое, уютно размятое, приспособившееся к его телу кресло, тяжело перевалился на бок, закинул ногу на ногу и впал в полудремоту. Половина его сознания, впрочем, не поддавалась дрёме и жила особо обострённой жизнью. И чутко бодрствовал его слух. Покрякивая, он долго полулежал так, не переменяя позы, беспрерывно думая и думая, но почти не улавливая своих дум. И тут он увидел себя бегущим по какому-то длинному и узкому коридору, сложенному из дикого серого камня, с каменным же полом и узкими, похожими на длинные щели окнами. И было очевидно, что коридор этот, уходя вдаль, описывает правильный круг, замкнутый между стен какой-то круглой, неведомой и ужасной башни, что убежать отсюда некуда, что здесь можно только кружить по одному и тому же пути. И когда Рухачёв осознал это, на него напал страх. Он проворнее заработал ногами и локтями, ускоряя свой бег, желая поскорее убедиться в замкнутости своего пути и в страшной, нерасторжимой замкнутости башни.

«Надо убедиться, надо убедиться, так ли это», — думал он, весь склоняясь вперёд в своём беге.

Однако, несмотря на работу своих ног, скоро он заметил, что два окна сбоку, длинные и узкие, как щели, ни на шаг не уходят от него ни назад, ни вперёд, вечно сопровождая его как безмолвные спутники. Он заработал ещё напряжённее, почувствовав острые колотья в горле от дикого бега, но тут страшная догадка озарила его сразу же похолодевший от страха мозг. Он понял, что каменный пол коридора вращается под его ногами и он работою своих ног лишь ускоряет это вращение пола, оставаясь всегда на одном и том же месте, не двигаясь ни на вершок вперёд. Он хотел крикнуть от боли и страха, но крик камнем застыл в его глотке, беззвучный и режущий. Он чуть повернул голову назад, не останавливая своего бега, и тут увидел, что всего в трёх-четырёх шагах от него бежит, как бы преследуя его, смешная, коротенькая и пузатенькая старушонка в чёрном чепце и коричневом платье. Раздувая щёки, потешно, как дети, изображающие паровоз, она через равномерные паузы пофыркивала:

— Фурк, фурк, фурк!

И от этого почему-то делалось ещё страшнее. Рухачёв заработал ногами изо всех сил, чувствуя, что мозг разлагается в его голове от ужаса и начинает пахнуть падалью. И не уходили два окна от него, и всё так же бежала за ним смешная старушонка, смешно пофыркивая:

— Фурк, фурк, фурк.

И Рухачёв заметил, что она, несмотря на вращающийся под ногами пол, всё-таки не остаётся, как он, на одном месте, а приближается к нему, может быть, в час на один сантиметр. Рухачёв сознал твёрдо, что она всё-таки его догонит, одолев эти три-четыре шага, разделяющие их, в два или три года. Догонит и положит к нему на плечо свою пухленькую в чёрной митенке руку, а сердце Рухачёва разорвётся тогда от страха; и он догадывался, что до тех пор он уже не в силах остановить своего бесцельного и дикого бега, этой безумной скачки на одном месте. Чёрная с длинными пальцами лапа схватила его за сердце и сжала. Рухачёв замычал и увидел перед собою Варвару Петровну со свечкой в руке.

— Вы кого-то звали? — спросила она. — Может быть, меня?

Рухачёв глядел на неё, щуря от света глаза, раскрыв губы и чувствуя в голове то неприятное ощущение, как в ноге, когда её отсидят.

— Я вас не звал, — наконец сказал он.

— А мне показалось, — улыбнулась Варвара Петровна.

— Я читал книгу, — соврал Рухачёв.

— Это в темноте-то?

— Я только что потушил свечу, — выговорил Рухачёв решительно.

Варвара Петровна всё стояла перед ним, держа свечу вровень со своим плечом.

— А я вот, — проговорила она после паузы, заискивающе улыбаясь, — хочу курочек своих проведать, скучно что-то. Вы мне не посветите? — добавила она совсем тихо. — Фонариком этим, как его! Електрич...

— Простите, — промямлил Рухачёв, морща лицо, — работы у меня ох сколько, просто ужас сколько работы...

Лицо Варвары Петровны печально вытянулось. Он проводил её до двора с ласковою улыбкой, притворяясь и хохоча внутренне, и запер за нею дверь.

— Покойной ночи, сейчас я до утра за работу засяду, — весело крикнул он через дверь.

— Покойной ночи, бедненький, — отозвалась и та деликатно.

Весь содрогаясь от пожирающего его смеха, Рухачёв подумал: «Опять электрической любви захотела! Ишь её!»

Он опять опустился в кресло и закрыл глаза.

Вошла Зиночка, вдруг наполнив всю комнату светлою радостью, протягивая к нему тонкие девичьи руки. Такие милые руки.

— Я так и знал, что вы придёте, — шумно обрадовался Рухачёв, вскакивая со своего места, шумно ликуя, охваченный весь буйным восторгом. — И я всё ждал вас! Скучно без вас!

— И мне было скучно без вас, — сказала Зиночка, наивно улыбаясь. — Вы мой маяк светлый.

— А мне так хотелось поплакать у ваших колен о моей пропащей жизни, — вздохнул Рухачёв. — Зиночка, я очень несчастлив!

— Поплачьте, — ласково склонилась к нему Зиночка и нежно погладила рукою его волосы. — Ну и что же? Поплачьте!

Он опустился перед ней на колени, благоговейно прикоснулся губами к её юбкам, к её тонким рукам, наивно пахнувшим нежным запахом распускавшегося шиповника. И потом оторвался от неё, встал, взволнованно заходил по комнате.

— Есть ужас жизни, Зиночка, — заговорил он наконец, — есть ужас жизни, которого ты ещё не знаешь! Есть благородные мечты,

есть светлые порывы возвышеннейшего благородства, есть горделивые дерзания духа, и есть порченые зубы, дряблость воли, опакощенное развратом тело и целое стадо нечистых свиней. Веришь ли ты этому, Зиночка?

— Верю!

— Бедненькая моя! Ведь таков и я, Зиночка, таков и я! — воскликнул Рухачёв горестно, почти плача. — Таков и я. Я мечтал о профессуре и служу в акцизе, люблю тебя и грязно схожусь с грязной и старой бабой. Возношусь духом на небо и телом швыряюсь в навозе, как червь. Зиночка, поплачь со мной о моей опакощенной жизни! Милая, родная, светлая! Или хочешь, я изменю всё сразу, точно обрежу ножом? Женюсь на тебе, устроюсь где-нибудь учителем городского училища, буду тихий, светлый, радостный, честный за честным трудом! А кто будет помогать моей матери? А брату-студенту? Или им можно и поголодать? Ну, отвечай же мне, Зиночка! Ну что же ты глядишь на меня, как подстреленная голубка? А кто же будет тешиться грязью? Потому что и в грязце есть вкусное сальце? Очень вкусное! — почти завопил он, потрясая руками.

В его дверь постучали. Всё точно провалилось перед его глазами, и ужасом обдало его на одно мгновение. А потом его глаза лукаво сощурились. Он подошёл к двери и вкрадчиво спросил:

— Это вы, Варвара Петровна?

— Я.

— А что вам?

— Да вы что-то кричали сейчас.

— Это я так, стихи читал патетические. Одного знакомого актёрика я припомнил! —выговорил Рухачев лукаво.

— А-а, — протянула Варвара Петровна, — то-то я слышу, вы даже всё как будто в рихму, всё в рихму!

«Рихма! — улыбнулся Рухачёв презрительно. — И курами от неё пахнет! Ужас как! Просто не продышишь!»

Однако он внушительно погрозил себе пальцем и шёпотом приказал:

— Больше не смей. Не всё же тебе сладенького! Ни-ни.

Вспомнились нежные руки Зиночки. Он отмахнулся. Зажёг свечу, достал из портфеля бумаги и стал с озлобленным выражением перелистывать их, порою что-то как бы ворчливо нашёптывая, словно

жалуясь кому-то. А в мутном рассвете сквозь рыжие вихри он снова увидел белобрысое лицо того страшного с чёрным рубцом на левой щеке. Прокравшись, как тень, между строениями, он назойливо стучался в окно к Рухачёву и умоляюще тянул синими от стужи губами:

— Впусти... Ну, впусти же...

Но Рухачёв от разговора с ним наотрез уклонился. «Надо повременить, — думал он, — надо ещё повременить!»

Варвара Петровна сказала ему утром за чаем:

— Письмо я с почты получила. На той неделе во вторник кум ко мне заедет...

— Кто? — удивлённо протянул Рухачёв.

— Разве забыли? Крёстный отец Зюлькин. Акцизный сборщик Малюхин. Поедет винные лавки оббирать и заедет ко мне...

— На это они мастера, — вдруг громко прыснул Рухачёв, чуть не поперхнувшись чаем.

— На что мастера? — ничего не поняла Варвара Петровна.

— А вот винные лавки-то оббирать, — выговорил Рухачёв, — поэтому экспроприаторами и называются!

Он потёр свои огромные, костлявые ладони и сосредоточенно подумал: «Значит, на меня теперь эта операция возложена? Значит, на меня?» И, тяжко вздохнув, скосил глаза в одну точку.

III

Сквозь непогодную рыжевато-сизую мглу из садочка резко доносились детские голоса: один Зюлькин, а другой Кольки, сапожникова сына, и мешали Рухачёву думать, мешали ему сосредоточиться. А передумать нужно было многое. Всю жизнь надо было передумать Рухачёву. Хмуря брови, слонялся он из угла в угол по комнате в тщетных попытках собрать воедино разрозненные мысли. И раздражённо прислушивался к детскому пению.

— Быя, быя, быя ко-о-о-ска, — тянула Зюлька каким-то плачущим напевом, точно подражая церковному пению.

— Что это у нас за содом? — сердито спросил Рухачёв Варвару Петровну, появляясь в её комнате и капризно морща лицо.

— Какой там содом, просто дети радуются, — ответила та, разглаживая утюгом крошечную Зюлькину юбчонку.

— Чему радуются? — опять спросил Рухачёв хмуро.

— Кошка у нас сегодня околела, — пояснила Варвара Петровна.

— Кошка околела, так это им радость, хм... — брезгливо поморщился Рухачёв, — ну и детки же у нас...

— Обыкновенно, дети как дети, — опять равнодушно сказала Варвара Петровна, — кошка околела, вот они её и хоронят, забавляются, им всё игра...

Рухачёв увидел в окно: Колька сапожников стоял на коленях у голого куста сирени, плавно размахивал крошечной корзиночкой, привязанной к верёвке, и гудел баском, топыря изо всех сил губы:

— Алилу-уя казанская, всенощная, поми-и-и-лу-у-й...

А Зюлька тянула сзади него на тот же мотив:

— Быя-быя — у-умейя ко-о-ска...

Переменив тон на более радостный, Колька вдруг завопил во весь голос:

— Мно-о-гая ле-е-та, мно-о-гая ле-е-та.

И ещё неистовее замахал корзиночкой.

— Вот как! С многолетием у нас панихиды-то, — рассмеялась Варвара Петровна.

Рухачёв капризно сморщил лицо, нехотя повернулся и неторопливо двинулся в сад. Было холодно, между голыми ветками сада беспокойно кружило ветром, шуршало по земле высохшим листом. А над полями несло рыжие облака пыли. Шёл мужик по полевой дороге, то и дело повёртываясь задом к ветру, пряча руки в карманы рваного полушубка. Бежала лошадь улицей села и гневно ржала, настораживая уши.

Рухачёв думал: «Скверность, везде одна скверность, вся жизнь — сплошная скверность...»

Колька сапожников, плавно размахивая корзинкой, точно кадя кому-то, шёл к сенцам и дудел под нос что-то неразборчивое. Зюлька меланхолически выкрикивала:

— Ко-о-ску холонили, ко-о-о-о-ску...

И при каждом выкрике низко кланялась, тоже, как и Колька, размахивая рукой. Рухачёв проводил их глазами, поёживаясь под резким ветром, и вдруг жутко забеспокоился. Густые поросли бурого

орешника, сбегавшие под изволок и всё время резко дёргавшиеся под ветром, привлекли на себя его внимание. Казалось, кто-то возился там под скатом с унылыми причитаниями. Рухачёв сделал два шага вперёд, вытянул шею и стал смотреть в самую чащу орешника, где клубком скатывало шуршавшую листву. И тогда он ясно услышал человеческий шёпот:

— Ишь! Ишь! — выговаривал кто-то насмешливо и вместе с тем боязливо.

Ноги Рухачёва опахнуло холодом и жарко стало вискам. Вывернув губы и кося глазами, он сделал ещё два шага, углубляясь в бурые заросли.

— Ишь, ишь, — опять услышал он.

— Это ты? — спросил он робко, весь сжимаясь и чуть даже пристукивая зубами, — ты, что ли?

Но ему не отвечали. Двумя огненно-рыжими клубками покатило под изволок листву, шуршащую и посвистывающую. Совсем холодно дунуло сбоку, пылью закололо глаза.

— Ишь, ишь, — пронеслось уже совсем в другой стороне.

Рухачёв стоял, смотрел и слушал. Сердце его жутко замирало, и глаза сухо блестели.

— Ишь, — пропищало почти рядом.

«Он это, — подумал Рухачёв, — а лицо показать боится, в перекличку со мной играет, меня заманивает».

— Ты меня не заманишь, — выговорил он вслух резко и твёрдо. — Я Малюхина оборудовать не соглашусь! Ни за какие коврижки! Эй ты, слышишь? — уже выкрикнул он с запальчивостью.

Сзади, сбоку и спереди сразу в три голоса пискнуло:

— Ишь! Ишь! Ишь!

— Вот погляди, эй ты! — опять сказал Рухачёв. — Я тебя не боюсь, и я ещё раз повторяю тебе: я оборудовать Малюхина не согласен. Пусть назначат лиц помоложе. Я уже ведь, слава богу, титулярный советник! Слышал? Не кто-нибудь, а титулярный советник! Что?

Рухачёв сморщился и замолчал. Ему, как в полудремоте, пригрезилось: одутловатое белобрысое лицо, чёрный широкий рубец на левой щеке и разорванная до колена шаровара.

«Ну, конечно же, он это, — подумал Рухачёв взволнованно. — И нынче ночью хочешь не хочешь придётся его принять».

Поспешно повернувшись, он пошёл к дому. Со всех сторон обдувало холодным и пыльным ветром, кололо глаза, и тоскливо мучилось сердце, оплакивая всю жизнь, пустую и смрадную. Он подошёл к Варваре Петровне и сказал:

— Представьте себе, на меня это хотят возложить! Хи-хи-хи, — вдруг подхихикнул он.

— Что возложить? — переспросила Варвара Петровна.

Как бы резким светом ударило в глаза Рухачёва. Даже мозг содрогнулся в его голове от этого удара. Он замешкался и, хитро перекосив брови, ответил:

— Так, одно совсем неинтересное для меня поручение. А я ведь, слава богу, титулярный советник, что вы там ни говорите...

И загадочно усмехнулся Рухачёв сквозь колючие усы.

А ночью он всё-таки лицом к лицу столкнулся с ним. С тем, кого он так боялся и кого он все эти дни ощущал возле. Это произошло вот как.

С вечера уже видел Рухачёв в окно: всё гонял тот по полевой дороге, вздымая целые облака пыли, носясь от села к селу, маяча в мутной мгле гневным призраком. То там, то тут появлялся он. А потом вдруг исчез. И тогда Рухачёв понял, что сейчас он появится вот здесь, у него. И, действительно, почти тотчас же он увидел его; тот стоял, прислонившись спиною к печке, и в упор смотрел на Рухачёва.

— Это ты? — спросил его Рухачёв сдержанно, вдруг преисполнившись весь жалости. — Это ты? Ты? Ты?

Тот вздохнул и кивнул головою.

— Я самый, — выговорил он скорбно.

Одна нога его была в лакированном офицерском сапоге, а другая босая в разорванной до колена шароварине. Белобрысое одутловатое лицо казалось блёклым и грустным. Чёрный рубец выпукло перерезывал его левую щеку.

— Я знаю, — сказал Рухачёв горько и покорно, — ты меня на Малюхина науськать хочешь. Ты давно уж этими намёками сердце мне бередишь. Ты меня белоручкой зовёшь, ты меня дрянцой с пыльцой величаешь, и нет такого прозвища обидного, которого ты ко мне не приложил бы! Ведь я знаю! Все знаю! — Рухачёв погрозил пальцем.

Тот, в зелёной рубашке, презрительно выдвинул толстую нижнюю губу.

— А то нет? — сказал он. — Как же ты не дрянцо с пыльцой? Где же тебе, например, с наше выдюжить? Хватит ли у тебя кишки?

Его взор скользил по высокой фигуре Рухачёва с обиднейшею насмешкой. Рухачёв замахал неистово обеими руками:

— Выдюжил бы, если бы была вера, — закричал он взбудораженно, — силы есть, силы даже недюжинные есть, и секрет весь в том, что нет веры. Сто пудов сил и ни маковой росинки, хоть какой-нибудь веришки! Абсолютное ничто в этих направлениях! Полнейший штиль! Чёрные провалы и пустота! Ноль с двумя минусами в обе стороны! И вот почему обиднейшие ошибки и сплошная грязь жизни! Вот именно почему!

— Зубы ты мастер заговаривать, — равнодушно перебил его в зелёной рубашке, лениво улыбаясь, — особливо, когда надо отвильнуть от дела.

Он опять улыбнулся как бы нехотя и тупо, морща перерезанную рубцом левую щёку.

— И не пойму я, для чего ты всю эту канитель завёл, — сказал он затем внушительно, — когда ты сам вчера весь день себя убеждал...

— В чём? — спросил Рухачёв, обеспокоившись.

— Вот в чём...

— В чём? — опять перебил его Рухачёв, весь загораясь.

Вытянув шею, тот, в зелёной рубашке, шёпотом выговорил:

— Что чем пачкался, тем и отмоешься, чем ушибся, тем и полечишься! Что? Разве ты этого не говорил все эти дни? Ну?

Белесоватые глаза парня будто обливали Рухачёва презрением. Он заёжился.

— И всё-таки я от этого решительно отклоняюсь, — выговорил он, стараясь казаться твёрдым.

— Отклоняешься?

— Отклоняюсь...

— Сдрыжил, значит? — спросил парень, морща одутловатое лицо в ехидную улыбку.

— А тебе что до этого? — отмахнулся Рухачёв.

— А потому, что ты отклониться уже не имеешь права! — выкрикнул тот запальчиво. — Слышал? Не имеешь права!

— Почему? — робко переспросил Рухачёв, теряя под собой почву, весь зеленея.

— Потому что ты поклялся барышне Щепотьевой?

— Зиночке? — переспросил Рухачёв в ужасе.

— Зиночке.

— Это вчера ночью-то?

— Вчера ночью!

— Ловишь на честном слове? — взвизгнул Рухачёв, заглядывая в глаза парня. —Да?

Рухачёев, весь подавшись назад, как-то отпрыгнул от белобрысого и, закрыв лицо широкими костистыми ладонями, тяжко простонал, как от удара. И тут внезапно всем своим просветившимся на мгновение сознанием он понял, что он один в полутёмной комнате, что возле нет никого и что разговаривает он сам с собою. Его обдало холодным ужасом и, еле волоча ноги, он поплёлся в комнату Варвары Петровны. Та сидела у кроватки Зюльки и штопала детский чулочек, напялив его на деревянную ложку.

— За доктором что ли бы послать, — простонал Рухачёв, приближаясь, шмыгая сапогами, как-то весь кособочась.

— А что? — обеспокоилась Варвара Петровна.

— Да что-то вроде лихорадки со мною, — опять жалобно простонал Рухачёв.

— А если я вас домашними способами полечу? — сказала Варвара Петровна и кокетливо свернула губы бантиком. — Попою горячим чаем с малиновым вареньем и чарку настойки на подсолнечниковом цвете?

— Пожалуйста, — протянул Рухачёв, охая и почему-то придерживаясь за живот.

После второй чашки с малиновым вареньем он, впрочем, оживился и бойко с развязными жестами заговорил, что, собственно, он и сам не знает, почему он вообразил себя больным лихорадкой в то время, как у него, очевидно, лишь чуть-чуть пошаливают нервы.

— Больше ничего, как нервы, — говорил он Варваре Петровне, жеманно ему улыбавшейся.

Потом вышло как-то так, что Варвара Петровна сидела у Рухачёва уже на коленях и он игриво покачивал её из стороны в сторону и скрипучим фальшивым голосом напевал:

В няньки я тебе взяла
Ветра, солнца и орла...

А та всё также жеманно улыбалась, показывая мелкие, начинающие крошиться зубы, и приторно сюсюкала:

— Я плякать хочу, плякать, я бе-е-дная девочка... маюсенькая...

— Отчего плакать?

— От сердечной тоски... Влюблена!

Среди ночи, однако, воздух комнаты Рухачёва вдруг стал невыносимо жутким и из-под его кровати вылез тот, белобрысый, в зелёной рубахе.

— Ты помнишь? — спросил он Рухачёва строго и твёрдо, как власть имущий.

— Я согласен, — ответил Рухачёв спокойно и решительно. — Обрекаю себя в жертву! Пусть! Я готов!

Огромное радостное чувство тотчас же переполнило его, пролившись по всем жилам, осенив его, как благодатное облако.

— Я согласен, — повторил он торжественно и гордо.

И заплакал блаженными слезами.

Кричал петух, возвещая утро, а он всё ещё плакал, радостный и гордый, пряча в подушки жёлтое лицо.

IV

Из-за серого сруба амбарчика Рухачёв подглядывал за подъезжавшим к домику Варвары Петровны Малюхиным. И, давясь и корчась, хихикал, поджимая живот.

— Хи-хи-хи, — шепотливо повизгивал он, брызжа сквозь колючие усы слюной, — хи-хи, летит французская ворона в суп! Сама летит, никто её об этом даже не просит!

Малюхин уже стоял на крыльце и со щеки на щеку целовался с Варварой Петровной.

— Давно не видались с тобой, кумушка! — говорил Малюхин, наступая на полы длинного чапана. — Пожалуй, постареть даже успели!

— Ну, я до смертушки, куманёк, молоденькой прохожу, слово такое знаю! — жеманно улыбалась Варвара Петровна.

— Сейчас общипем ворону и на вертел её, — хохотал Рухачёв, припадая грудью к коленам, на корточках таясь за амбаром. — Не увернётся теперь ворона, сама пожаловала!

И он хорошо видел, как также давился от хохота за конюшней тот белобрысый. Он поднялся на ноги, оборвал свой смех, сделал строгое и серьёзное лицо и пошёл к крыльцу.

— Сколько лет, сколько зим! — сказал он, подавая Малюхину свою широкую костистую руку.

— Ну, с тобою-то, положим, мы всего на той неделе виделись, — с добродушной улыбкой ответил Малюхин.

— А ты много винных лавок по дороге ограбил? — серьёзно и даже как-то хмуро спросил Рухачёв, вдруг точно на минуту преобразившись.

«Чем пачкался, тем и отмоюсь, чем ушибся, тем и вылечусь! Так?» — подумал он в то же время.

— Много ли винных лавок? Изрядно, изрядно, — расхохотался Малюхин и бочком прошёл в дверь дома, путаясь в длинном чапане.

Варвара Петровна уже накрывала стол пёстрой скатертью, за перегородкой в кухне что-то вкусно шипело.

— Битки в сметане, — понюхав воздух, сказал Малюхин, толстенький и кругленький, с бритым подбородком. И щёлкнул языком.

А Рухачёв глядел в окошко, точно погружённый в глубокие думы.

«Первое — надо будет услать куда-нибудь Варвару Петровну, как-нибудь постараться. А второе — обрушиться как снег на голову!» — напряжённо думал он, точно шёл по канату над пропастью.

— Быстрота и натиск, как говорил Суворов, — процедил он вслух, морща щёки.

— Что такое? — переспросил Малюхин.

Рухачёв увидел: в зелёной рубашке стоял у притолки и во все глаза смотрел на него.

— Не беспокойся. Если уж я согласился, то согласился, — сказал он ему вслух, брезгливо двигая губами. — Разве ты не видишь? Моё сердце — кремень, а воля — железо!

— Что? — опять переспросил Малюхин, склоняясь к Рухачёву.

— Это я не тебе, — ответил тот и, начертав пальцем на салфетке условный знак, показал его белобрысому.

Белобрысый прочёл, мигнул бровями и вышел. Было очень забавно, что его никто не видел, кроме Рухачёва. Почему не видел? Или люди стали слепы? Все до единого? Рухачёв жёстко улыбнулся. Ему стало жаль людей. Бедные кроты, пресмыкающиеся в вечных потёмках! Жалкие трусы, сами надевающие на себя однобокие шоры!

«Но вы не бойтесь, — мысленно говорил он людям, — потому что я пожалел вашу убогость и один вышел заменить тысячи... Чтоб доказать вам ещё раз, что жертва — радость и счастье...»

Варвара Петровна поставила на стол графин с водкой и, вся сияя от радостной встречи с кумом, хлопнула его по плечу.

— Ну, куманёчек, водки по единой, — сказала она.

Малюхин со вкусом оглядел на свет графинчик, со вкусом налил себе, Варваре Петровне и Рухачёву по рюмочке, понюхал корочку хлеба и, чокнувшись, сказал Рухачёву:

— Ну что же? По команде пли!

— Это немного погодя будет, — ответил Рухачёв. — Очень хорошенькое пли будет. Вот увидите!

Но водки своей он не выпил.

Наливая суп, Варвара Петровна встряхивала кудерьками на лбу и припевала:

Куманёчек, побывай у меня...

А Малюхин ел солёные рыжики со сметаной, сыто улыбался и опять тянулся к водке.

— И ещё по единой!

— Душа-радость, побывай у меня, — тараторила Варвара Петровна, стараясь быть кокетливой.

Рухачёв, сдерживаясь, но всё же взволнованно произнёс:

— За позор прошлой моей жизни я отдаю вам всего себя. Неужели вам мало этого?

Розовые пятна выступили на его щеках, и острым пламенем заблестели глаза.

— А ты, брат, опять за философию, — недовольным тоном воскликнул Малюхин. — Как это тебе не надоест! И охота, ей-богу же, портить и себе, и другим аппетит!

Его рыжеватые усы были испачканы в сметане, и жирно лоснилось от выпитой водки его лицо.

— А философия разве порок? — спросил Рухачёв надменно.

— Не порок, но заниматься философией за обедом не место, — возразил Малюхин.

— И уж верно, вот кушал бы лучше! — поддержала его Варвара Петровна, подкладывая куму на тарелку ещё два битка.

— И ещё по единой, что ли? — спросил Малюхин.

— Быль молодцу не в укор, — одобряюще засмеялась Варвара Петровна.

После битков, когда подали чай, Варвара Петровна стала просить кума сыграть что-нибудь на гитаре. А Рухачёв, отодвинув стул, вышел в сад. Там, остановившись перед голым кустарником жимолости, он выговорил:

— Душа моя томится, и мне страшно!

Он с минуту молчал, топыря колючие усы, высокий и костистый, точно удручённый безысходной скорбью.

— Страшно мне, — опять выкликнул он после долгой паузы, — и гнётся с плачем душа моя под железным бременем!

И опять он понуро замолчал, потирая широкие ладони, скорбно сгибаясь. Темнело в саду, и шуршал вянущий лист на земле, гневно нашёптывая о смерти. И тявкала собака на селе, жалуясь на свою собачью долю. Из тусклого приземистого домика долетел звон гитары. Малюхин козлиным тенорком напевал:

Перед зеркалом стояла
Новобрачная од-дна.
Флёр д'оранж с себ-бя снимая,
Так про-о-мол-ввила он-на.

— Не о жизни моей уходящей я жалею, — страстно выдохнул Рухачёв, ломая руки, — а о мечтаниях, поруганных и забытых...

И при в-с-ём м-мо-ём ж-жела-ньи
Не могу его но-о-сить,
А-а-а-ах, к чему воспо-о-минанья,
Что прош-ш-ло, н-не возвратить...

Малюхин пел фальшивым голосом, как-то подпрыгивая на высоких нотах.

— Зиночка! — выкликнул Рухачёв. — Ты чистый гений, обречённый на медленное умирание. Ты уронишь обо мне слезинку, ибо и я был светел, как утренний луч!

Рухачёв заломил руки, длинные, костистые, с красными ладонями.

— Зиночка! Зиночка, — выкликал он, — не вини меня за плесень мою, ибо все живущие в подвале пахнут подвалом!

— На улице две курицы с петухом дерутся, — подпевал голос Малюхина.

Рухачёв вошёл взлохмаченный и угрюмый и произнёс, точно скандируя стих:

— Вот я уже прошёл самое трудное поприще, а лицо моё светло и нет слёз в глазах моих. Видите вы это?

Малюхин с усмешкой оглянулся на него.

— Опять политическая завёртка или философия «раскуси муа дю квас»? — он вновь усмехнулся и почесал выбритую щеку.

— Я жил, как свинья, — ответил ему Рухачёв, — но всегда спорил с тобою. Хоть в мечтах был выше тебя...

— На полтора вершка? — насмешливо спросил Малюхин.

— На два поприща! — гордо и сердито крикнул Рухачёв, высоко взмахнув рукою.

— Это что за мера? — опять с насмешкой спросил Малюхин.

Переменив тон, Рухачёв вдруг сказал, повёртываясь к Варваре Петровне:

— А ваша любимая курица Нюрка внизу у самой речки в орешнике копается, я сейчас её там видел!

Острые мысли то и дело вдохновенно прорезывали его мозг, как молнии прорезывают глубину туч. У него захватывало дух от буйного ликования.

— Ой! — испугалась Варвара Петровна и крикнула: — Настька, Настька! Идём, загоним Нюрку, пропадёт курочка, а ей цены нет...

— Как трёхшерстному коту? — сострил Малюхин.

Обе женщины прошли мимо, уходя вон из дома, переговариваясь о драгоценной Нюрке.

Малюхин и Рухачёв остались одни в комнате. Рухачёв стоял у окна, высокий и прямой, Малюхин, кругленький и румяный, сидел на диванчике с гитарой в руках. Дух Рухачёва точно весь дёргался в судорогах. Малюхин перебирал струны. Нагловато он сказал Рухачёву:

— Чем заниматься философией, давай лучше трёхшерстного кота искать. За него, говорят, англичане миллион рублей дают.

— А ещё что? — спросил Рухачёв высокомерно. Глубокой морщиной перерезало его лоб.

— Цып-цып-цып, — долетели в комнату пронзительные выкрики Варвары Петровны и Настьки.

— Цып-цып, не верю я ни в какой принцип, — сострил Малюхин, самодовольно усмехаясь своей остроте.

— От двадцатого до двадцатого — вот в чём все принципы и откровения, — добавил он, — не так ли?

Рухачёв глядел на него во все глаза, точно силясь что-то припомнить. «Сейчас надо начинать?» — кружилось в его сознании.

— Сейчас, — пробурчал он вслух.

— Откровениями живота не накормишь, — говорил Малюхин, перебирая струны гитары, — вот в чём вся суть. Правда?

— А у нас с тобой, кроме живота, разве ничего нет? — спросил Рухачёв, надменно выпячивая крупный красный рот.

— Так-то так, — сказал Малюхин, закидывая ногу на ногу. — Но от живота ведь разве куда уйдешь? Живот нас всю жизнь до гроба сопровождает, как верный друг. И главнокомандующий верный наш...

Малюхин засмеялся мелким смешком и вдруг спросил:

— А ты макароны заливные со сметаной и яйцами любишь?

— Чего? — переспросил Рухачёв, поднимая косматые брови.

Его лицо вдруг стало страшным. Колючие усы ощетинились.

— Ничего, — отвечал Малюхин. — А у тебя разве живота нет? Вот такого вот славненького пуза?

— У меня револьвер есть, — отвечал Рухачёв.

В комнате становилось темно.

Малюхин, не выпуская гитары, вытер губы рукавом куртки, взял два аккорда и запел:

Вот оне вот, неземныя создания,

Ба-арышни, труля-ля-ля...

И вдруг, выронив гитару, он тяжело отвалился к спинке дивана, тараща глаза, выставляя перед собою обе руки.

Рухачёв шагнул к нему, потрясая револьвером, и громко, отчётливо прошептал:

— Тебе говорю: руки вверх! Видел, кто я?

— Алексан... сан... — путаясь языком, сбивчиво зацедил Малюхин.

— Видел, кто я? — всё повторял Рухачёв, потрясая револьвером.

Он увидел уже в боковом внутреннем кармане Малюхина засаленный, вытертый, но объёмистый бумажник, распухший от пропахнувших спиртом кредиток.

— Вот, — выговорил он, — вот, вот, вот...

Обеими руками он схватился за этот бумажник, больно упираясь в грудь Малюхина левым локтем и отгибая в сторону его голову. Малюхин засопел и заикал со страха.

— Вот, — шептал Рухачёв, вытягивая бумажник изо всех сил.

И он вдруг ощутил на своей правой ладони мокрые губы Малюхина. Тот точно хотел поцеловать его руку. Рухачёв извернулся и вскрикнул. Малюхин впился в его руку зубами. И выхватил из разжавшейся от боли руки его револьвер.

— А-а, — протянул он, наседая уже на Рухачёва с револьвером в вытянутой руке, — а-а! А-а!

— Не отдам, — прошептал Рухачёв, улыбаясь, обеими руками прижимая бумажник.

— Отдай, ч-чёрт! — выругался Малюхин, задыхаясь, и выдвинул дуло револьвера к губам Рухачёва. — Ну?

— Не отдам, с-смерд, — веско сказал Рухачёв.

— С-сво-о-ла-ачь, — завизжал Малюхин.

Под потолком негромко и отрывисто хлопнуло. Рухачёв высоко и несуразно подпрыгнул. Во всём теле он ощутил вдруг сладкую лёгкость, как люди, видящие во сне, что они летают. И у него блаженно занялся дух.

Малюхин, отирая со лба пот и отдуваясь, указал испуганно вбежавшей Варваре Петровне на распластанное тело Рухачёва и сказал:

— Вот! Из-за принципа и со спокойной совестью! Он революю... Пусть... чёрт...



будищев.рф

А. Н. Будищев

Вольные стрелки

Собрание сочинений в 10 томах
Том IV

Куратор проекта «Возрождение»: *Халмурзина Диляра*
Редактор: *Черных Елена*
Корректор: *Голигузова Елена*
Иллюстрации: *ООО «Элеан»*
Дизайн и вёрстка: *Халмурзина Диляра*
Оцифровка материалов: *Черных Елена, Черных Александр, Глазунова Софья*

Издательство ООО «Элеан»
Москва, Олонецкий проезд, 18
Тел.: 8-916-960-60-44
e-mail: o.elean@yandex.ru
www. элеан.рф

Подписано в печать 29.05.2026
Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная
Тираж 10 экз. Заказ № 000000
Отпечатано в типографии «ПМГ»
г. Москва, Балтийская ул., 11
pmg.ru

ISBN 978-5-904822-84-2

